

Владимир Хазан

О литературном дебюте Андрея Соболя

Studia Rossica Posnaniensia 37, 55-65

2012

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

О ЛИТЕРАТУРНОМ ДЕБЮТЕ АНДРЕЯ СОБОЛЯ*

ON ANDREY SOBOL'S LITERARY DEBUT

ВЛАДИМИР ХАЗАН

ABSTRACT. The article examines the early steps in the literature of a prominent Russian writer, Andrey Sobol (1888–1926). The first published story A. Sobol himself pointed to was “Chelovek s prozvischami” (*A Man with Nicknames*), which appeared in print in 1913. In fact, A. Sobol's literary debut took place much earlier – in 1904. As the author of the article believes, Sobol attempted to cut out the first texts from his biography because these were unskillfully written. However, it is important to consider his literary debut in order to understand the evolution which Sobol accomplished from his early works to becoming an interesting and brilliant writer.

Vladymyr Hazan, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem – Israel.

Полноценное представление об истории русской литературы первых десятилетий XX в., в изучении которой немаловажное место занимают работы проф. Чеслава Андрушко, может сложиться только на основе привлечения и разработки всего многообразия фактов и факторов, составляющих ее контекстуальное единство и целостность. В особенности это касается по-настоящему значительных писательских имен, которые под воздействием тех или иных обстоятельств были преданы несправедливому забвению и без которых построение и описание подлинных историко-литературных процессов выглядит заведомо неполным и искаженным. К одному из таких *immerito oblivioni auctor*, без творческой деятельности которых трудно представить себе русскую литературу 10-х и первую половину 20-х гг., чьи произведения были крайне популярны в эти годы, а в 1927–1928 гг. вообще добились нечастой по тем временам заслуги быть представленными 4-томным собранием сочинений, был Андрей Соболев, о литературном дебюте которого пойдет речь в настоящей статье.

Начало писательской деятельности Андрея (наст. имя: Юлий Михайлович / Израиль Моисеевич) Соболя (1888–1926) традиционно, хотя и ошибочно, датируют 1914 г.¹, как это предложил сделать сам писатель, например, в автобиографической справке, отправленной Борису Федоровичу Лаврову:

* *Выражаю искреннюю признательность Павлу Лавринцу (Вильнюс) за помощь в работе над данной статьей.*

¹ См., напр.: *Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Библиографический словарь: в 3-х томах*, под ред. Н.Н. Скатова, т. 3, Москва 2005, с. 374. Ср.:

Первый мой рассказ *Человек с прозвищами* появился в 1914 году в „Русском богатстве“. Написал его в конце 1913 года – 1913 год – начало моей литературной деятельности².

В анкете *Писатели о себе* он вновь пишет, что:

первый мой рассказ появился в конце 1913 года в „Русском богатстве“³.

В этих ответах автор допустил две явные ошибки: во-первых, *Человек с прозвищами* появился не в конце 1913 г. (и тем более не в 1914 г.), а в июньской книжке „Русского богатства“ за 1913 г. (с. 60–100) и, во-вторых, он был написан в 1912 г., о чем свидетельствует письмо Аркадия Горнфельда Соболю от 30 октября 1912 г. В данном письме Горнфельд сообщал, что собольевский рассказ принят и будет напечатан в одной из ближайших книжек журнала. В это время бежавший с сибирской каторги Соболев, где он отбывал наказание за участие в революционной деятельности, жил в Европе на положении политэмигранта. Письмо Горнфельда было адресовано в Берн близкой собольевской знакомой С. Симановской (Genossenweg 21 III), адресом которой он пользовался для сношений с Россией. Поскольку и за ним, и за Симановской велась усиленная слежка, письмо было перехвачено, перлюстрировано и копия отправлена в Департамент полиции:

Милостивый Государь,

Рассказ г. Андрея Соболя *Человек с прозвищами* **принят** и будет напечатан в одной из первых книжек будущего года. Необходимы будут некоторые исправления и сокращения, в общем несущественные.

С соверш[енным] уважением

А. Горнфельд⁴.

„[С]оболь] начал писать в 1913...“ (В. К а з а к, *Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года*, London 1988, с. 713).

² ОР РНБ (Санкт-Петербург), ф. 414, № 12. В той же справке, как бы отстраняясь от своего раннего творчества и полностью ставя на нем крест, он сообщает заведомо ложный факт: „Никогда нигде не печатался под псевдонимами – всегда подписывался и подписываюсь: Андрей Соболев“ (там же).

³ „Новая русская книга“, Берлин 1922, № 6, с. 38; ср. в другой анкете 1922 г.: „Писать я начал серьезно в 1913 г. Первый мой рассказ появился в 1914 г. в «Русском богатстве»“. (Ответ на анкету, РГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 272, л. 1 об.); ср. в автобиографии, написанной по другому поводу, с еще более внятной инспектирующей ретроспекцией: „Начал писать серьезно в 1913 г., до того все было не по-настоящему – мимоходом“ (*Литературная Россия. Сборник современной русской прозы*, под ред. В. Лидина, вып. 1, Москва 1924, с. 314; там же, *Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков*, под ред. В. Лидина, Москва 1928, с. 316); там же, Е.Ф. Н и к и т и н а, *Русская литература от символизма до наших дней. Литературно-социологический семинарий*, предисл. Н.К. Пиксанова, Москва 1926, с. 402).

⁴ ГА РФ (Москва), ф. 102, оп. 265, д. 801, л. 82. Написано на бланке журнала „Русское богатство“. Перлюстратор обвел титул почтовой бумаги: Русское богатство. Санкт-Петербург, Баскова ул. 9. Телефон 20.83.

На это письмо Соболев отвечал Горнфельду:

Cava di Lavagna (via Genuva) Italia

20-го [ноября 1912]

Многоуважаемый Аркадий Георгиевич!

Я очень, очень рад, что мой рассказ принят и, тем более, что он появится в одной из первых книжек – это уже по „особым причинам“. Если сокращения и исправления не существенны – то о них не приходится говорить.

Я надеюсь, когда выйдет книжка с рассказом – Вы мне дадите знать, ибо здесь „Русское богатство“ не получается.

Беру на себя смелость послать Вам несколько своих стихотворений.

Буду очень рад, если Вы найдете возможным принять их для этого года (или для следующего).

Надеюсь, Вы не рассердитесь, что беспокою Вас.

Буду с нетерпением ждать Вашего ответа насчет стихотворений.

И – примите мое большое спасибо за скорый ответ по поводу рассказа.

С глубоким уважением

Андрей Соболев⁵.

В редакции журнала рассказ пролежал больше года, о чем с очевидностью свидетельствует письмо Владимира Короленко Горнфельду от 19 октября 1912 г.:

Человек с прозвищами Андрея Соболя (он же А. Нежданов)⁶, а адрес для ответа M-lle S. Simanowsky. Того же автора были стихи „с настроением“ (недурные, но местами модернистски нелепые) и рассказ *Мендель Иван* из тюремной жизни. Последний рассказ (т.е. *Человек с прозвищами*) лучше предыдущего и, на мой взгляд, следует напечатать, предупредив автора, что может быть нескоро⁷.

О том же свидетельствует письмо самого Соболя Горнфельду от 28 мая 1913 г. из Cavi di Lavagna:

Многоуважаемый Аркадий Георгиевич.

Простите, что беспокою Вас, но, право, делаю это ввиду очень важных для меня причин и потому надеюсь, что Вы не рассердитесь. В октябре прошлого года я получил от Вас письмо (от 30-го X 1912), что мой рассказ *Человек с прозвищами* будет напечатан в одной из первых книжек „Рус[ского] Бог[атства]“ за этот год.

На основании Вашего письма я предполагал, что рассказ появится в январе или в феврале или в марте. Потом, когда все эти книги вышли, я думал, что появится в апрельской книжке. Но вот вчера я увидел объявление уже о майской книге, но без моего рассказа.

⁵ ОР РНБ (Санкт-Петербург), ф. 211, № 990.

⁶ Этот литературный псевдоним, которым Соболев называл себя по имени одного из героев тургеневской *Нови* и подписывал свои первые произведения, на совершенно непонятном основании идентифицируется как его подлинная фамилия, см.: *Неизвестный Горький (к 125-летию со дня рождения)*, Москва 1994, с. 325 (индекс имен сост. А.А. Тарасова).

⁷ РГАЛИ (Москва), ф. 155, оп. 1, ед. хр. 342, л. 98; *Письма В.Г. Короленко к А.Г. Горнфельду*, предисл. А.Г. Горнфельда, Ленинград 1924, с. 72.

Поэтому я и решаю[сь] беспокоить Вас: не могли бы Вы сказать мне, в какой книжке появится рассказ? Буду очень благодарен, если Вы не замедлите ответить. Быть может, он появится в июне? Или будет отложен до осени? Разве нет никакой возможности, чтобы он появился в июне, а не позже?

Поверьте, что все это спрашиваю ввиду важных причин. Иначе я бы Вас не беспокоил. Хочется верить, что Вы не оставите мое письмо без ответа.

Буду ждать с нетерпением. *Очень* прошу Вас ответить мне.

С соверш[енным] уважением

Андрей Соболев

Адрес мой: J. Sobol, Cavi di Lavagna (Riviera digura) Italia⁸.

Однако *Человек с прозвищами* был вовсе не первым из опубликованных прозаических текстов Соболева. Еще раньше, в „Общедоступном журнале” (1912, № 4, с. 24–32), под псевдонимом Андрей Нежданов появился его рассказ *Звенья*. Главный герой – страдающий от одиночества политэмигрант Серов, знакомится с официанткой-румынкой Лизой, которая заступается за него, когда его избивают в кафе немцы. Встреча двух одиноких и тоскующих душ, тянущихся друг к другу и становящихся родственными в чужом и жестоком обоим мире, – таков основной нерв этого рассказа Соболева.

В редактируемой Владимиром Поссе „Жизни для всех” (1912, № 12, с. 1826–1837), под общим названием *Листки из забытой тетради*, появились соболевские очерки *Мои ночи*, *Кандалы*, *В пути*, в которых преобладает тюремная, каторжная тематика и проблематика, хотя пронизаны они романтико-лирической интонацией. Следует, впрочем, сказать, что саму тему каторги бывший политзаключенный Соболев открыл в своем творчестве еще раньше: в сдвоенном № 11–12 (июль–август) бурцевского „Былого” за 1909 г. был напечатан (под именем Андрей) его мемуарный очерк *Амурская колесная дорога* (с. 18–26). К этому следует добавить, что в январском выпуске журнала „Былое – грядущее” за 1908 г. увидел свет соболевский трехчастный цикл *Песни неволи* и стихотворение *Другу* (подписаны его подлинным именем – Юлий Соболев), по-видимому, переданные на свободу из застенка (под стихами обозначено место написания: Нерчинский рудник, Горный Зерентуй)⁹. Стихи Соболева малоинтересны, трафаретны, написаны по шаблонной схеме „революционных” виршей и лишены каких-либо самобытно-индивидуальных образно-стилевых особенностей:

Звякнули цепи... Прощай, моя воля!

Вновь предо мною тяжелая доля.

Громче звени, моя песня борьбы!

Вместе снесли мы удары судьбы.

⁸ РГАЛИ (Москва), ф. 266, оп. 3, ед. хр. 54, л. 1.

⁹ В августе 1908 г. медицинская комиссия отправляет его на поселение в Баргузин. С этапа он прислал товарищам по Зерентуйской каторге стихи, начинавшиеся строчкой: „Сказка, сказка – я на воле” (А. Б о н и ш к о, *Андрей Соболев. Каторга и ссылка*, „Историко-революционный вестник” 1926, № 26, с. 237).

[...]

Спой им, что взяты в плен – не рабы,

Выйдут на волю для новой борьбы!

Грянь моя песнь! Из темничного тлена,

Мчись на приволье, не ведая плена¹⁰.

Если говорить о собственно соболевской прозе как *belles-letters*, то с ней читатель мог познакомиться еще в 1911 г. по журналу „Современник”, в котором под псевдонимом Андрей Нежданов была напечатана повесть *Старый дом* с посвящением Авк-вой (кн. 6, с. 77–119; далее – страницы в тексте)¹¹. В дальнейшем она никогда не перепечатывалась, хотя многие мотивы и сюжетные ходы будут повторяться в последующем творчестве писателя¹².

По сюжету повести, когда-то в дом, который выступает локусным центром повествования, въезжает еврей-провизор Сергей Акимович Гольдберг:

Когда снял квартиру Сергей Акимович Гольдберг, швейцар выразил свое неудовольствие:

– Вот и жид к нам забрался. Пойдет возня! Жиденята, рев, плач. Шуму не оберешься.

Но все обошлось благополучно. У Гольдберга, оказалось, не было детей, и приехал он только со своей женой – худенькой, молчаливой женщиной, да и сам оказался человеком очень вежливым, смиренным. Швейцар успокоился и даже кланялся ему, хотя евреев терпеть не мог и часто рассказывал дворнику об еврейских проделках (с. 79).

Герой повести – революционер Сергей Кремлев, с которым в творчество Соболя входит тема двойного тайного существования представителей „красного цеха” – террористов, готовящих акцию: явки, конспирация, неподлинные имена – все это через несколько лет отзовется в романе *Пыль* (1915). Отзовется, и не только в *Пыли*, а разольется по всей „творческой акватории” Соболя, мотив душевной слабости революционера, человека экзальтированного, надломленного, живущего в мире внутреннего разлада с собой, желающего покончить счеты с жизнью. Один из персонажей *Старого дома*, Петр, жалуются Кремлеву, что ненавидит жизнь и хочет умереть:

Ты не думай, я не трус. Я не боюсь. Но скажи ты, должен ли я пойти, когда ненавижу жизнь, когда я хочу умереть. Мне не хочется жить. Устал я, Сережа. Все во мне умерло. Тупая боль во мне. Такая тоска, Сережа! И смерть мне представляется блаженством, смерть – счастье. И, думая так, я не должен идти с вами. Ведь самопожертвование нужно, а я ведь ничем не жертвую. Наоборот. Можешь ли ты, имеешь ли ты право сказать чахоточному,

¹⁰ Ю. С о б о л ь, *Песни неволи*, „Былое – грядущее” 1908, № 1 (5), с. 8.

¹¹ В том же журнале за 1912 г. был напечатан роман Шолом-Алейхема *Блуждающие звезды* в переводе Соболя.

¹² Годы спустя, в письме к своей жене, Р.С. Бахмутской, от 19 февраля 1917 г., Соболю, называя по ошибке годом публикации *Старого дома* 1912 г., писал о нем как о первом своем рассказе, который, как и рассказ *Звенья*, он хотел бы предать забвению (частное собрание).

который должен через месяц, другой умереть: иди, тебе нечего терять, ты должен все равно исчезнуть, так умри за благое дело?

Ведь нет? Это будет сделка, а не долг, не радость борьбы, а неизбежность. Так и я... Ничего не теряю, Сережа! Вот уже вторая неделя, как я не сплю. Не могу заснуть. Лежу и думаю, лежу и думаю. И сил нет... Всюду болит... (с. 92).

В самом начале творческого пути у Соболя появляются герои, до неотличимости сходные с самим автором, мучающиеся тем, что вынуждены длить постылое существование и произносящие монологи, вполне органичные для его собственных уст.

Но и *Старый дом* нельзя считать дебютной вещью Соболя. Подлинным дебютом явились два его ранних рассказа – *Брошенные (Из жизни маленьких людей)* и *Мачеха Руди* (с немецкого), напечатанные в вильнюсском детском журнале „Зорька” соответственно в № 10 за 1905 г. и № 2 за 1906¹³. И тот и другой относятся к категории „жалостливых” рассказов на тему трудного детства, и в том и другом трудно пока еще различить мастерскую руку будущего талантливого писателя, – скорее, приходится признать профессиональную неискусенность и неопытность „зеленого” дебютанта. Тем не менее как литературный факт они достойны упоминания – именно с них начался путь Соболя в литературу.

По сюжету первого из них, 13-летний крестьянский подросток Васютка, отдан в город для обучения сапожному ремеслу. Постоянные побои, которые терпит он от хозяина-сапожника, делают жизнь ребенка невыносимым кошмаром. Здесь он сблизается с другим учеником, Петькой, в „педагогических целях” изувеченным хозяином: („Раз его хозяин толкнул, но так неловко, что Петя слетел с лестницы и вывихнул ногу. Его поместили в чулан, где он по целым дням лежал в углу на куче тряпья. Пищу ему бросали как собаке, часто даже забывали накормить, и бедный Петя по целым часам голодал”¹⁴). Под воздействием Васюткиных рассказов о деревне как райском месте на земле, где можно наслаждаться привольной жизнью – рыбачить, ходить в лес по ягоды и грибы, мальчишки бегут из дома сапожника. Когда на пути беглецов повстречалась река, Васютка, вспомнив свое деревенское детство, решается искупаться в ней и тонет.

Подзаголовок второго, еще более сентиментального, рассказа – „с немецкого” – указывает вовсе не на перевод, как можно было бы подумать¹⁵, а на

¹³ Указанный в *Краткой еврейской энциклопедии* (т. 8, Иерусалим 1996, стлб. 80) рассказ *Секрет*, якобы напечатанный в той же „Зорьке”, разыскать не удалось; нам представляется, что это указание является ошибочным.

¹⁴ Ю. С о б о л ь, *Брошенные (Из жизни маленьких людей)*, „Зорька” 1905, № 10, с. 14–15.

¹⁵ Впрочем, некоторые фразы из рассказа в самом деле звучат как в плохом переводе на русский язык, см., например: „– Я хочу иметь еще немного терпения...”, „Я надеялся, что мама, которая так горячо желает быть для тебя доброй матерью...”, „Руди вышел из

то, что герой, „красивый, бойкий мальчик” Руди (Рудольф), сын доктора, помещен не в российскую, а в немецкую среду¹⁶. Сытость и достаток, в которых растет Руди, нарушаются лишь одним: у мальчика нет матери, которую Боженька призвал к себе – „к лучшей жизни, где нет ни страданий, ни болезней”¹⁷. Отец решает привести в дом новую женщину, на что и указывает заголовок рассказа. Сообщение о появлении в доме мачехи маленький Руди воспринимает в штыки, хотя наперекор proverbially ожидающему традиционно злого и жестокого образа мачеха оказывается красивой и доброй женщиной, стилизованной под фею:

Она осматривалась весело вокруг своими прелестными голубыми глазами и радовалась всему, что только видела: радовалась солнечным ярким лучам, радовалась, глядя на парочку крошечных ребят, игравших перед одним из домов.

– Как я рада, что буду жить в деревне, – сказала она своим мягким голосом. Это так приятно видеть молодую травку, слышать пение птиц, дышать свежим воздухом. Но более всего я радуюсь моему мальчугану¹⁸.

Несмотря, однако, ни на ее ангельские черты, ни на трепетную заботу о нем, Руди долго не поддается: на контакт упрямо не идет и всем своим видом и поведением демонстрирует неприятие новой матери. Привычный стереотип злой мачехи как бы перевернут: не она оказывается воплощением бесчувственного обращения с приемным сыном, а он проявляет к ней незаслуженную жестокость. Видя эти не налаживающиеся при всех стараниях взрослых контакты, отец мальчика приходит к мысли отправить его учиться в закрытый пансион, что приводит Руди в полное отчаяние. Потрясенный этой новостью, он убегает из дома, держа путь на кладбище, к могиле покойной матери. И здесь, на кладбище, излюбленном романтической литературой топосе развертывания разного рода трогательных и душещипательных историй, происходит переломная сцена, слезливость которой достойным образом венчает мелодраматический пафос рассказа Соболя в целом:

Ворота были открыты. Он [Руди] подошел к могиле матери. Все было там по-прежнему, только на мраморном памятнике висел венок. Руди узнал его, он вчера видел его на рабочем столике мачехи.

Солнце зашло – стало темно.

Руди этого не заметил – он стоял на коленях и горько плакал.

Вот уже поднялась блестящая луна; стало холодно, а Руди все еще стоял на коленях и плакал, как вдруг чья-то рука нежно легла ему на плечо.

кабинета, бросился бежать через сад на улицу и пошел вперед. Он все шел, пока не приблизился до кладбища” и под.

¹⁶ Младший брат Соболя, Владимир, годы спустя, вспоминал:

Когда Андрей принес домой этот журнал [„Зорьку”, я почему-то прежде всего бросился понюхать свежую типографскую краску (Частное собрание, Иерусалим).

¹⁷ Ю. С [о б о] л ь, *Мачеха Руди*, пер. с немец., „Зорька” 1906, № 2, с. 38.

¹⁸ Там же, с. 43.

Он испуганно обернулся – перед ним стояла мачеха.

– Наконец-то я нашла тебя, Руди, – сказала она ласково и, заметив, что он плачет, взяла его за руку и продолжала:

– Руди! Позволь хоть у могилы твоей матери поговорить с тобой серьезно. Когда меня твой отец сюда привез, я радовалась той мысли, что я здесь найду маленького мальчика, которого я смогу любить. Скажи хоть раз: отчего ты так жестоко со мной обращаешься? Оттого, что твоя мама мертва? – верь мне, – я ее тоже любила.

В этом месте выясняется, что мачеха была когда-то подругой усопшей, хотя и младше ее годами. Именно поэтому она как бы изначально воспринимала Руди в качестве „своего”, „родного”, и материнские чувства поселились в ее душе еще до встречи с ним. Установив таким образом некую связь и наследственность между двумя этими женщинами – подлинной и приемной матерью Руди, и тем самым еще более углубив мелодраматическую суть повествования, автор завершает кладбищенскую сцену эффектной сентиментальной концовкой, в которой 9-летний ребенок говорит языком пылкого юноши и вообще все построено по плоскому романтическому шаблону с его мнимым драматизмом и неизменно благополучными развязками:

– Мама! – вскрикнул Руди, и все накипевшее в его груди за последние дни, вся мука вылилась в этом одном слове. – Мама! Можешь ли ты меня простить и быть прежней?

– Руди! Мой милый, глупенький мальчик! Ты еще спрашиваешь? – с любовью она его обняла и нежно поцеловала. – Идем домой! Холодно, – сказала она, взяв его за руку¹⁹.

Эти далекие от того, что можно было бы назвать meaning-making system – смылосозидательной системой, творческие опыты, безусловно, не могли, годы спустя, приобрести в собственных глазах Соболя сколько-нибудь ценностное значение. Нет поэтому ничего удивительного в том, что он решительно отмежевывался от своих первых литературных опусов и в качестве даты вступления на относительно твердый писательский путь настойчиво называл 1913 или даже 1914 год. В этом сказывалась, и небеспричинно, его неколебимая уверенность в абсолютной художественной беспомощности всего написанного им ранее.

В данной связи заслуживает пристального внимания соседство той деятельности, которой занимался юный Соболев в начале своего жизненного пути – революционная агитация в Литве и Польше (за что он в скором времени расплатится арестом, военным трибуналом и каторгой в далекой Сибири) – и „слезливой” литературой, в которой воплощались его творческие интенции, с ее далекими от жизни переживаниями, мелодраматическими сюжетами и эффектным псевдоромантическим пафосом. Хорошо известно, что среди тех, кто проповедовал в России жестокую и беспощадную борьбу с властями и поклонялся кровавому революционному террору, было немало представителей литературного цеха, начиная, скажем, с писателя-террориста Сергея Степ-

¹⁹ Там же, с. 51–52.

няка-Кравчинского, народовольцев Петра Меньшина-Якубовича или писавшей стихи Веры Фигнер, до романиста Виктора Ропшина, известного „в миру” как Борис Савинков, один из самых знаменитых русских бомбистов, или поэта Ивана Каляева, убийцы вел. кн. Сергея Александровича... К этой же категории „впрягавших в одну телегу” вроде бы вещи несовместимые – террор и литературу, с одной стороны, апостолов разрушения и смерти, а с другой, апологетов любви, гуманизма и созидания, без сомнения, должен быть отнесен и Соболя.

Упомянувшийся выше младший брат писателя, Владимир Соболя, впоследствии вспоминал о том, что в Андрее парадоксальным образом уживалась жалость ко всему живому, кротость и смирение перед явлением чуда жизни и приливы революционного бунтарства и разрушения, – и при этом та и другая взаимоисключающие друг друга стихии сосуществовали в нем органично и естественно.

Андрей был старше меня всего на четыре года, – писал Владимир, – но уже в этом отроческом возрасте он поражал всех окружающих своим болезненным сочувствием ко всему обиженному, обойденному и несправедливому, что он ощущал своей чуткой душой. Помню я, как он однажды в холодную зимнюю пору вернулся откуда-то домой без теплых перчаток и с какой-то внутренней убежденностью в правоте своего поступка объяснял матери, что перчатки он отдал какому-то мальчику, очень оборванному и замерзшему. Это, конечно, было не проявлением сентиментальной детской „доброты”, а признаком все возрастающей [sic] мысли о социальном неравенстве, о несправедливости, окружавших в те времена людей. Через много, много лет этот же человек, за всю свою жизнь не нанесящий ни одной царапины никому, сосредоточенно и упорно будет учиться стрелять в цель, чтобы затем уничтожить свирепого полицейского или какого-нибудь жандармского ротмистра. Будучи чрезвычайным комиссаром при правительстве Керенского, этот безобидный человек, в юности проливавший слезы над судьбой бедного дяди Тома, звал в окопы солдат, во имя Революции, продолжать эту нелепую войну до победного конца, за что через некоторое время он был отправлен из Одесской Чка на расстрел, закончившийся его бегством при содействии знакомого конвоира²⁰.

Следует, между прочим, заметить, что революционно-террористическая деятельность Соболя, приходящаяся на тот период, когда он, после бегства с каторги, оказался в эмиграции и теснейшим образом сблизился с эсерами, по-настоящему не только не исследована, но практически неизвестна даже специалистам. Именно опыт участия в ней и знакомство с целым рядом са-

²⁰ Частное собрание (Иерусалим). Ценное само по себе свидетельство родного брата писателя о существовавшем в характере Соболя с детства двуединстве доброты и жалостливого чувства с решительностью и склонностью к социальной мести сопровождается, однако, чертами малодостоверного „семейного мифа”: никакой связи между должностью комиссара Временного правительства, которую занимал Соболя, и Одесской ЧК не было, и, хотя ему действительно пришлось провести в чекистской тюрьме около полугода (март–август 1921 г.), из-под расстрела он не бежал, поскольку никогда к нему не был приговорен.

мых опасных, с точки зрения властей предержажших, фигур, поставленных „вне закона”, привел Соболя к его роману *Пыль* (1915), в котором тема террора делается центральной и превращается в призму, через которую писатель пытается рассмотреть мировой универсум.

Роман *Пыль* соединял в своем художественном многомирии две крайне значимые для Соболя темы – террора и антисемитизма: острота романа была прежде всего связана с тем, что писатель указал на юдофобскую болезнь, которой заражена „передовая” революционная среда: герои „новой” России в этом смысле мало чем отличаются от обычных обывателей-„жидоедов” в России „старой”. Для нашего обзора Соболя-дебютанта существенно указать на то, что впервые антисемитская тема появляется в его литературном творчестве задолго до *Пыли* – в рассказе *На пороге*, увидевшем свет в еженедельнике „Хроника еврейской жизни” (1905, № 35, 9 сентября, стлб. 34–39) и подписанном подлинным именем автора – Юлий Соболев.

Три молодых еврея, приехавшие из местечка в большой город для сдачи экстерновских экзаменов – явление, заметим, крайне распространенное в российской жизни конца XIX – начала XX в.²¹ – живут небольшой колонией, ютятся и влача нищенское существование в арендуемой ими квартирке. Один из них – Айзик Коспополит (Соболев как бы в насмешку дает своему герою столь „говорящую” фамилию) – свято верит во всемирное братство людей, в то, что „время идет и новая жизнь стоит на пороге, новая, светлая жизнь” (стлб. 36). Эта слепая и наивная вера отдаляет от него его друзей, Эфраима и Давида, внося разлад в их отношения.

Все ставит на свои места начавшийся в городе еврейский погром:

Стоны, крики о помощи раздавались повсюду. Слышался треск разбиваемых стекол и посуды... Мелькали в воздухе куски разноцветных материй, платки... Разбивались бочки вина, и ароматная жидкость смешивалась на тротуарах, на мостовой с осколками стекол, с лоскутками материй. Из окон домов летели на улицу скамейки, стулья, крупная мебель... Изредка доносился сухой отрывистый треск выстрелов. В воздухе, как снежинки, кружились перья и пух, покрывая улицы белой, густой пеленой: валил густой, едкий дым – и над всем этим ужасом стоял непрерывный громкий клич:

– Бей жидов! (стлб. 38).

Погромщиками убит Давид, который, сопротивляясь опьяневшей от вина и крови толпе, отстреливался из револьвера. Трагические события спускают Айзика с заоблачных вершин его утопической веры на грешную землю, однако отрезвление происходит слишком поздно: он выхватывает из рук мертвого Давида револьвер, наводит на озверевшую толпу, но,

²¹ Об этом см., напр., в воспоминаниях писателя О. Дымова (первоначально на идише – „Wos ich gedenk” 1943–1944): О. Ды м о в, *Вспомнилось, захотелось рассказать... Из мемуарного и эпистолярного наследия в 2-х томах*. Т. 1: *То, что я помню*, пер. с идиша М. Лемстера; общ. ред., вступ. ст. и коммент. В. Хазана, Jerusalem 2011.

[...] рассекая воздух, взвилась тяжелая дубина в руках одного дюжего парня, и с силою опустилась на голову Айзика... Раздался глухой удар... Прозвенел еле слышный стон... что-то треснуло, и бесшумно упало тело... Космополит был мертв... (стлб. 39).

Нет надобности еще раз подчеркивать литературную неопытность дебютанта, искусственные характеры и обстоятельства, которые он рисует в своем рассказе, сконструированность и подчиненность повествования заранее заданной незамысловатой схеме – все эти черты присущи ранним соболевским вещам без какого-либо исключения. Возможно, не имело бы смысла обращаться к этим первым, робким и неуверенным шагам интересного и яркого в недалеком будущем писателя, если бы Соболев ранний столь выпукло не оттенял бы Соболя зрелого, и данный разительный контраст не свидетельствовал бы тем самым о гигантской эволюции, пройденной им в течение сравнительно короткого времени (вся его творческая жизнь уместилась в 20 лет) до того, как наступил подлинный „роман с читателем”. Но сам характер проделанной эволюции – ее темп, этапы и, главное, направляющие и движущие силы – все это составляет предмет уже другого исследования.